

ОТРЫВКИ РУССКИХ РАЗГОВОРОВ*

Из введения

Для данной книги я отобрала некоторые из наблюдений и историй, накопленных, главным образом, за девять московских месяцев 1989–1990 гг. Представляя их, я хочу сказать, что это не бессистемные, единичные явления, а типичные для заключительных лет перестройки примеры самовыражения россиян. Все эти тексты неизбежно несут на себе отпечаток определенной культуры, как бы эфемерны и личностны они ни были или как бы на их авторов ни влияло мое присутствие. Я не ставлю своей целью всестороннее социологическое изучение процесса изменений в культуре и способах человеческого самовыражения в России во время и после перестройки. Даже если бы подобное исследование было возможно, его результаты устарели бы еще до его завершения. Моя цель иная – на материале повседневных разговоров и практик показать, как в узловые, пусть подчас и разделенные целыми эпохами, моменты истории судьбы россиян перекликаются между собой; из обыденных разговоров я хочу извлечь и сформулировать те социальные и идеологические ориентиры, которым говорящие следуют и которые они сами воспроизводят.

Моя основная теоретическая посылка состоит в том, что спонтанное речевое общение (разговор) является главным механизмом, посредством которого формируются и поддерживаются во времени идеологические и культурные установки. Я считаю, что речевой, дискурсивный мир не просто отражает мир более "зримого" социального действия, но и участвует в построении последнего; таким образом, в разговоре в форме повествования или даже в форме мифа "запечатаны" модели осмысливания действительности и ценностные системы, которые, образуя своего рода "формулы" жизни данного сообщества, направляют и формируют жизнь его отдельных членов ("модели жизни и модели для жизни" – Geertz 1973: 93; Rosaldo 1986: 134). Рассказы, истории, анекдоты, шутки, сетования, которые можно было слышать в Москве в годы перестройки, являлись не только и не просто реакцией на текущие события; они были – и я надеюсь это показать – "типичны" и потому составляли существенный элемент самих событий. *Говорение* – во всех видах и формах – есть ключевая составляющая производства социальных парадигм и практики и воспроизводства того, что часто называют "русскостью".

Возраст, политические убеждения, социально-экономическое положение моих информантов варьировались в широких пределах: я брала интервью у партийных функционеров и известных диссидентов, государственных чиновников и представителей нарождавшегося класса бизнесменов, патриотов, ветеранов и писателей-абсурдистов, философов с коммунистическим мировоззрением и либеральных журналистов. Среди моих знакомых были люди явно высокопоставленные, они имели хорошее жилье, машины, дачи – то, что полагается по статусу, а были и такие, кто жил в однокомнатных квартирах, ездил на метро и проводил лето в душном городе. Я довольно хорошо узнала около ста человек, но так как со многими я общалась в их семейном кругу или в контексте их профессиональной деятельности, то фактически в ходе полевой работы я контактировала с несколькими сотнями людей. Как это принято в этнографической

Нэнси Рис (Nancy Ries) – профессор антропологии и исследований мира и конфликтов, заведующая кафедрой антропологии Колгейтского университета (Гамильтон, США); e-mail: nries@mail.colgate.edu

* В основу статьи положены фрагменты русского перевода книги автора, вышедшей в издательстве "Новое литературное обозрение" (Рис 2005).

практике, я "замаскировала" своих информантов, чтобы их не узнали: изменила имена, в некоторых случаях – род занятий или другие "особые приметы".

Российская "речевая действительность" в эпоху перестройки

"Ну почему мы должны так жить, когда во всем мире войдешь в любой магазин – и покупай хоть десять сортов колбасы и сколько угодно сахару?"

"Стон" русской женщины, Москва, 1990 г.

В последние годы перестройки Москва гудела от эха глубоких, но безответных вопросов. Горькие сетования по поводу жертв, принесенных страной во имя коммунизма, а также апокалипсические картины будущего переполняли разговоры. Обнародование позорных страниц истории не уступало по своему шокирующему воздействию демонстрации ужасов современной преступности. Осуждение невероятной неразберихи, вызванной горбачевскими реформами, затмило жалобы на абсурдность прежней советской жизни. По мере того как пустели прилавки магазинов, разговоры приобретали все большую выразительность. С сентября 1989 по май 1990 г. я наблюдала, как мои друзья и знакомые боролись за выживание под обломками государственной системы. Еще я слушала, что они говорили о трудностях, переживаемых страной, и о своих собственных тяготах.

В частных разговорах и в средствах массовой информации циркулировала одна и та же комбинация трагических вопросов, но по-разному сформулированных. Один из них, вопрос-стон – "Ну почему мы так живем? Почему после стольких страданий, жертв, потерь и надежд наша жизнь все равно так трудна?" Как выразилась одна моя собеседница, "почему у нас все так плохо?" Другой центральный вопрос – "Куда мы идем?" – невольно вызывал в воображении образ советского общества в виде неуправляемой повозки, мчащейся по неверной дороге к неминуемой катастрофе. Красноречив отрывок из статьи в одном из сентябрьских "Огоньков" за 1989 г. (№ 37, с. 1): «"Куда мы идем!" – сегодня эти слова чаще произносят не в вопросительном, а в восклицательном ключе. В них вкладывают, мягко говоря, недоумение по поводу того, что перестройка приносит результаты, противоположные ожидаемым. Вместо изобилия товаров – тотальный дефицит, вместо высокопроизводительного труда – забастовки, вместо стабильности – межнациональные и социальные конфликты...».

К осени 1989 г. из уст людей все чаще можно было услышать о том, что путь, по которому следует общество, ведет в тупик. Этой метафорой они выражали свое ощущение беспомощности, сожаление о том, что горизонты, замаячившие было перед ними на заре перестройки, снова исчезли из виду.

Поначалу подобные заявления о российских страданиях и провале реформ казались мне естественной, нормальной реакцией на муки прошлого, настоящего, а возможно, и будущего. К 1989 г. большинство людей в перестройке разуверилось; характерные для ее раннего периода (примерно 1985–1988 гг.) ожидания скорого наступления свободы и процветания выветрились; приближался конец советской власти (хотя ни стремительности, ни драматичности, с которыми развалился Советский Союз, никто ожидать не мог). Партийные лидеры с самого начала не сумели предложить рациональной стратегии реформ; столь же неумело реагировали они и на непредвиденные результаты перестройки¹. Мало того, что возникли и постоянно усугублялись непосредственные материальные проблемы: не хватало продуктов и самых необходимых товаров, коммунальные службы работали все хуже, происходила новая бюрократизация государственной системы, – реформы обрушили на людей еще и психологические трудности. Хотя все наслаждались ширившейся свободой самовыражения и получения информации, однако безудержное ниспровержение общественных идеалов и всего, чем народ так долго жил, сбивало с толку и дезориентировало. Но, наверное, еще более неопределенным представлялось будущее: на что оно будет похоже, что принесет –

благополучие всему народу или гражданскую войну? Было ясно – свою жизнь придется менять, но как и до какой степени? Многие предчувствовали, что страданий – физических и духовных – не избежать ни отдельным людям, ни всему обществу в целом.

Естественно поэтому, что люди не жалели слов, живописуя свои разочарования и опасения. Неудивительно также, что, в основном, они обсуждали трудности сегодняшней жизни. Мне же из этих разговоров о бедности, страдании и абсурдности хотелось узнать как можно больше о российской "политической культуре". Кругом только и говорили, что о социальных катаклизмах и собственной беспомощности, и мне никак не удавалось направить мысли своих собеседников на поиски конструктивных, с моей точки зрения, способов преодоления трудностей текущего момента и внушить им более светлый образ грядущего.

Существенно, что многие собранные мной примеры "русского разговора" принадлежат интеллигенции. Московская интеллигенция всегда задавала тон в стране, была самой красноречивой частью населения, а с приходом гласности раскрылась в этом качестве еще полнее. В период радикальных социальных перемен Москва громко жаловалась, переживала, отчаивалась или цинично комментировала происходящее.

Поневоле думалось: могут ли в обществе произойти разумные перемены, если те люди, которые, по идее, умеют и по своему положению должны рационально и трезво формулировать проблемы и оценивать возможности их решения, вместо этого вопиют об овладевших ими чувствах безнадежности, страха и возмущения, заражая и всех остальных этими эмоциями?

Как пишет Моше Льюин, "то, что часть интеллигенции и некоторые средства массовой информации внесли свой вклад в распространение в обществе панических настроений, – неоспоримо. Они, без сомнения, сыграли определенную роль в опасном процессе подрыва доверия к новым институтам государственной власти, возникшим в ходе реформ... Можно сказать, что в каком-то смысле они сами своим усердным прощением накликali на страну лавину бед" (Lewin 1995: 302).

Мне – американке с моей привитой культурой убежденностью (может быть, и безосновательной!) в том, что каждый гражданин обладает своей долей власти, – было странно и неприятно внимать катастрофическому дискурсу² моих друзей и информантов в тот момент, когда в России открывались небывалые возможности для позитивных общественных преобразований. Но в конце концов именно многочисленные провалы попыток довести до сознания собеседников мое, радикально отличное от их, восприятие российских проблем заставили меня обратить "этнографическое" внимание на те дискурсивные моменты, которые эти неудачи и определяли.

Постепенно я осознала, что звучащие вокруг выражения беспомощности и отчаяния парадигматичны, следуют определенным моделям и обращаются к одному и тому же, довольно узкому, набору символических референтов. Постоянно сталкиваясь с таким модусом речи, я почувствовала желание исследовать его происхождение и культурный смысл, подумать о его разнообразном и подчас неожиданным воздействии на социальную жизнь, попытаться описать роль языка в социальном воспроизводстве вообще. Поначалу критическое, мое восприятие этих разговоров изменилось, и я стала думать о них как о части более широкого культурного ритуала, как о квинтэссенции порожденных перестройкой ритуальных процессов. В них подчас в мифологической форме находили выражение неразрешимые противоречия российской действительности и проявлялись точки социальной напряженности.

Область функционирования ритуализованного дискурса отнюдь не отделена от более ясно очерченных сфер политики, экономики, права, в которых бурно шли структурные изменения; скорее наоборот: ритуальные жалобы эпохи перестройки оказывали на эти процессы свое собственное влияние, придавали им определенный характер, незаметно, а иногда и не столь незаметно им противодействовали. То, что и как говорила интеллигенция в годы перестройки, оказывало на происходящее значитель-

ное с точки зрения культуры влияние. Интеллигентский дискурс "препарировал" актуальные проблемы, в результате чего интенсифицировалось их значение и усиливался общественный резонанс. К тому же, в соответствии с законами диалектики и диалога, чем громче звучал голос отчаяния, тем сильнее раздавались голоса с иной интонацией – те, что отвергали фаталистическое смирение и романтический популизм и энергично утверждали почти как непререкаемую истину правомерность эгоистической заботы о самом себе (такая установка быстро набрала силу, когда в обществе появились представители нового среднего класса).

Одной из важнейших идеологических операций, произведенных перестроечными разговорами и жалобами, стало высвечивание противостояния (материального или "метафизического") различных социальных групп и попытка найти в этом противостоянии объяснение трагичности российского/советского опыта. В нарративах на эту тему противопоставлялись глупость, эгоизм и жестокость тех, кто находился у власти, и мудрость, великодушие и доброта, присущие, конечно же, простым людям из народа. Могли противопоставляться беззащитный "материализм" нарождающегося класса бизнесменов и духовные добродетели интеллигенции. И наоборот: вина за отсталость российской экономики и общественной жизни подчас возлагалась на массы – темные и косные; одновременно оплакивалась неспособность советской интеллигенции помочь народу преодолеть "врожденные" отрицательные национальные черты.

Эти рассказы конструировали архетипический мир, в котором честный и порядочный писатель, которого не пускают в сияющие чертоги Союза писателей, недоедающий и не имеющий приличного жилья, лишенный возможности приобщиться к знанию великой литературы собственного народа, все же остается верен своим духовным и эстетическим идеалам. В этом мире изнуренные работой женщины-матери целиком отдают себя дому и семье и, в конечном счете, держат на своих плечах всю страну. В этом мире бедные крестьяне делятся последней картошкой с незнакомцем, находящимся в еще большей нужде, чем они сами.

Сколь бы сентиментальными или идеалистичными ни казались такие наррации, они тем не менее вновь и вновь воспроизводили идеологию привычной – или неизбежной – дихотомии "верхов" и "низов", богатых и бедных, сильных и слабых, "их" и "нас", элиты и народа. Представляя себя и своих друзей, знакомых, коллег, родственников и соседей в виде аллегорических характеров и черпая материал из "реальной жизни" – области трудного и даже болезненного материального существования, московские "сказители" сотворяли свой образный русский мир – романтический, трагичный и мрачно-то-комический.

Личные нарративы служили основой для самовосприятия и презентации себя как людей, достойных уважения – даже без обладания какой-либо властью или статусом. Ощущение собственной значимости создавала тонкая инверсивная игра с ценностями, планами и образами реальности, спускаемыми сверху, из царства тотальной коммунистической власти. Таким образом, распространенные типы разговоров играли ключевую роль в поддержании символической иерархии ценностей, представляющей собой инверсию практической иерархии ценностей, которую заключал в себе российский социалистический (а теперь все в большей степени и капиталистический) дискурс. В убийственной иронии мужских анекдотов и насмешек и в трагически-торжественных жалобах женщин скрывалось сопротивление: россияне противились усвоению официальных идеалов и норм, структурировавших модели повседневной жизни (и соответственно формировавших жизненный путь) и принесших населению столько проблем.

И если расслышать в речах подобные символические перестановки, почувствовать их глубинную логику и задуматься над их значением, то, полагала я, можно до какой-то степени понять и более широкий социальный контекст, в котором рождаются сегодняшние политические дискуссии и конфликты.

* * *

"Наша сказочная жизнь":

Повествовательные образы России, ее женщин и мужчин

Штампы – знаки искусства. Верстовые столбы. Следуя им, жизнь, сама не замечая того, превращается в легенду и сказку.

Андрей Синявский. "Голос из хора"

Лишь продукты пропитанья

вкус наш радуют подчас...

Но готовься жить заранее

без ветчин и без колбас!

Без кондитерских изделий!

Без капусты! Без грибов!

Без лапши! Без вермишели!

Все проходит. Будь готов.

Из стихотворения Тимура Кибирова

Однажды (в 1990 г.) за чаем в небольшой компании речь зашла о "полном развале" советского общества. Собеседники обменивались примерами нелепостей и беспорядка в российской жизни, а кульминацией разговора стала фраза писателя Володи, которую он, весело блестя глазами, произнес с характерным презрительным смешком: "Знаешь, что такое Россия, Нэнси? Это Анти-Диснейленд". Володя был доволен своей находкой – образом страны как мифической земли, где все запрограммировано идти не так, гигантского "парка культуры", в котором в качестве главного развлечения предлагаются разнообразнейшие неудобства, поломки и всеобщая неразбериха. Действительно, в то время казалось, что для людей самым большим, хоть и мрачным, удовольствием было вопрошать друг друга: "Куда мы катимся?" – после чего разворачивать захватывающе-жуткие сценарии дальнейшего распада страны. Собственно, этим мы, попивая чай, и занимались, когда Володя блеснул остроумной метафорой.

Назвав Россию Анти-Диснейлендом, Володя выразил и еще одно свое ощущение: российский и американский миры в корне противоположны, потому что базируются на противостоящих друг другу культурных фикциях. Если Диснейленд есть зримое воплощение пресловутого американского процветания и убежденности в том, что жизнь может быть сплошным удовольствием, тогда Анти-Диснейленд должен быть местом, где царят бедность, тяжкий труд и уныние. Для первого подходит образ сказочного замка с башенками, для второго – мрачной, перенаселенной коммуналки, где все ругаются из-за вечно занятой ванной.

Образ Анти-Диснейленда несет в себе и намек на "выдуманность" российского мира, и своим, и чужим нередко кажущегося миром сказки, продуктом мифического мышления. Как написала Зара Абдуллаева, «это пространство словно заколдовано. Самые обычные дела здесь удаются с трудом, зато невероятные осуществляются легко. Причинно-следственные связи отменены, а здравый смысл не имеет цены. Поэтому "умные" зачастую оказываются в дураках, а "дураки" добиваются успеха»³.

Русские часто произносят фразу "наша сказочная жизнь". Даже об Октябрьской революции один журналист сказал: "...сказка так долго была популярна" (Огонек. 1989. № 36. С. 1). Писатели-сатирики от Салтыкова-Щедрина до Синявского сумели развернуть подобные ощущения в целые абсурдистско-фантастические саги, многие из которых навевались утопическими попытками государства, всегда грандиозными и часто чудовищными, создать и упрочить фантастическую, мифическую реальность (литература задолго до 1917 г. начала пародировать эти попытки).

Но и в обычных разговорах обычных людей российская действительность подчас предстает в виде настоящей волшебной сказки. Есть масса широко бытующих образов, тем, стилистических приемов и жанровых форм, которые снабжают коллектив-

ное воображение и обыденную речь средствами создания нарративов сказочного типа, пассажей, словно принадлежащих сказке. Наполненные закодированными символами, они и становятся опорами того культурного мира, который русские называют "наша сказочная жизнь" и который они постоянно дискурсивно воспроизводят. Клиффорд Гирц имеет в виду именно эти структуры, когда в эссе "Размытые жанры" говорит о такой стороне социального действия, как "многократное исполнение – воспроизведение и восчувствование известных форм", и о "повторе формы, будто бы поставленной на сцене самими зрителями и ими же разыгранной" (Geertz 1983: 28, 30)⁴.

А осью, вокруг которой все это разворачивается, является создание индивидуальной и групповой идентичности. Структуры, формирующие социальный мир, принадлежат человеку; локальные миры – это, можно сказать, побочные продукты самосозидания людей. Как пишет Барбара Мейерхофф, "одним из наиболее устойчивых, хотя и неумовимых способов познания людьми самих себя является демонстрация самих себя самим себе, производимая с помощью многочисленных форм: рассказывая самим себе о происходящем, драматизируя свои притязания через ритуалы и другие коллективные действия, делая видимыми реальные и желаемые истины о себе и о значимости своего существования посредством воображаемого и перформативного производства" (Myerhoff 1986: 261)⁵.

Наблюдения над русским разговором сосредоточены именно на том, как творят и как представляют себя его "персонажи" – создатели и обитатели русского "Анти-Диснейленда", часто будто бы шагнувшие прямо из сказочной страны богатейшего русского фольклора.

Перестроечный эпос: "Полнейший распад"

Однажды мартовским вечером 1990 г. мы с друзьями собрались за праздничным столом; как часто бывало, разговоры о "полной разрухе" почти вытеснили все другие темы. "Ты знаешь, что сейчас в Калужской области все по карточкам?" – "У меня родители в Киеве уже сами сажают картошку". – "Говорят, теперь в колбасе одни пестициды, гормоны и чернобыльская радиация; детям ее нельзя давать, а все равно покупают – народ истосковался по мясу". – "Полная разруха". "Да, – сказал один молодой человек, работавший на железной дороге. – Я на работе слышал: приезжали какие-то японцы проверять наши железные дороги, посмотрели и сказали, что в жизни не видели такого кошмара – насыпи сползают, рельсы в ужасном состоянии. Говорят: ждите катастроф, особенно на ленинградском направлении, оно особенно перегружено". "Да, – протянул другой гость, – полнейший распад". В какой-то момент я наивно попыталась втиснуться в эту литанию: "Что можно сделать, чтобы все это исправить?" Мой вопрос был встречен молчанием; тогда я не понимала ритуальной сущности подобной реакции.

Слова "полная разруха" и аналогичные фразы типа "полный развал" или "распад" постоянно звучали лейтмотивом разговоров в кругу многих моих московских знакомых. "Полный распад" заключал в себе все, что рушилось в тогдашнем российском обществе; это был дискурсивный знак эскалации преступности, исчезновения товаров с прилавков магазинов, экологических катастроф, падения производства, этнических конфликтов на Кавказе, "деградации" искусства, распространения порнографии и других проявлений безнравственности, которые видели повсюду. Хотя почву для разговоров такого содержания в изобилии давали происходившие тогда перемены и острота социальных проблем, но то, как люди говорили друг с другом на эти темы, как расцветивали свои повествования собственными эмоциями и деталями из личного опыта, служило к созданию весьма специфического, сугубо местного ощущения реальности. "Полная разруха" превратилась в фольклорный жанр со своей структурой (литания), особым общим настроением (предчувствие еще худшего), сосредоточенностью на опре-

деленных темах (чем больше крови и ужасов, тем лучше) и ожиданием определенной реакции со стороны слушателей (встревоженное удивление). К тому же, эти истории объединяли людей одинаковым переживанием текущего момента и давали им чувство общей судьбы.

В конце 1980-х годов средства массовой информации как безумные соревновались в показе тех самых ужасов, которые и были сердцевиной жанра "полная разруха". Таблоидные новостные передачи, ставшие обычными на телевидении в те годы, были почти ритуальными "перевертышами" доперестроечных программ с их идеализацией советской жизни. В выпуске популярной передачи "Совершенно секретно" от 17 декабря 1990 г., например, показывали морг одной из больниц; беседы журналиста с врачами и рабочими перемежались картинками наваленных на столах разлагающихся трупов. Рабочие говорили, что температурные и санитарные условия поддерживаются очень плохо и что крысы постоянно грызут тела; вслед за этим шел кадр с крысами на прогнившем полу коридора.

В марте 1990 г. программа "Взгляд" рассказывала о московском зоопарке. Один из служащих поделился со зрителями услышанным как-то разговором посетителя с ребенком: "Смотри, сынок, сколько мяса живьем ходит!" Следующим в программе был сюжет о доме престарелых, куда подсадили каких-то правонарушителей, которые стали обирать и избивать пожилых людей. Давали панораму лежащих в кроватях стариков, настроение щемящей жалости создавали определенные ракурсы и музыкальное сопровождение. Никто не говорил слов "полная разруха", но подтекст был ясен. В конце передачи комментатор многозначительно произнес: "Вот к чему мы идем, друзья".

В другой истории формата "полная разруха" типичное нагнетание ужасов сочеталось с ханжеским морализаторством: в новостях 11 декабря 1989 г. говорили об обмороженных алкоголиках, иллюстрируя рассказ крупными планами исцарапанных, окровавленных, шелушащихся рук, носов и губ пьяниц, которые "отключились" на улицах во время сильных морозов. "Как это вас угораздило? – спрашивал алкоголиков журналист, и в вопросе явно слышалось, что пьянство аморально, а пьяницы – жалкие личности. – Вот до чего мы дошли", – с чувством добавил ведущий, как будто желая сказать, что до перестройки такого не было.

Повышенное внимание СМИ к социальным ужасам усиливало чувство надвигающейся катастрофы, которым были пропитаны повседневные разговоры. Телевизионные сюжеты моментально попадали в частные беседы, где переплетались с реальным опытом говоривших; отчасти это способствовало тому, что общенациональные проблемы начинали восприниматься как личные, непосредственно касающиеся данного конкретного человека, а повествования о личных или семейных трудностях превращались в эпические произведения, в которых эхом звучала сама российская история.

Как-то раз мы беседовали с одной знакомой в ожидании автобуса, и ее поэма о "полной разрухе" началась с темы пустых прилавков. Постепенно к ним добавились различные кризисные ситуации текущего дня; дальше – больше, и в конце концов дело дошло до грядущей гибели мира от рук террористов, имеющих доступ к советскому ядерному оружию. Завершили мы с приятельницей этот разговор, хором восклицая "Ужас!", "Какой кошмар!" и "Что делать?!". Теми же восклицаниями встречались и типичные проявления беспорядка на городских улицах – драки, скандалы в очередях, шатающиеся пьяные, мат без стеснения. Аналогичная реакция возникала также при виде десятков старушек, тесными рядами заполнявших подходы к станциям метро и предлагавших прохожим купленные в магазине сигареты, воблу, водку. Такая торговля превратилась во время перестройки в заметный социоэкономический феномен; ее называли "спекуляцией", но очевидная ненормальность этого явления тут же относилась к следствиям "полной разрухи" и помещала в более широкую картину социаль-

ной дезинтеграции. Все подобные обсуждения сводились к тому, что Советский Союз погружается в хаос и анархию (два любимых слова эпохи перестройки).

Самое интересное – многие мои собеседники не выражали беспокойства по поводу вероятности собственных страданий в связи со всем этим; процесс обмена такими историями сопровождался скорее радостным возбуждением, чем тревогой. Волновались, главным образом, пожилые люди, отчасти потому, что сознавали уязвимость своего положения, отчасти потому, что все, что происходило в перестройку, в корне противоречило их ожиданиям, – перестройка просто-напросто опрокинула их культурный мир. Люди помоложе, более защищенные в социальном плане, к тому же впитавшие дух всепроникающей и не очень-то "подпольной" иронии 1970–1980-х, наоборот, вели такие разговоры с каким-то болезненным удовольствием. "Как далеко это, по-твоему, пойдет?" – пытались они друг друга, а затем начинали наперебой вообразить все более страшные картины дальнейшего распада общества⁶.

Но все же любимой темой сказаний о "полной разрухе" были магазины, потому что с ними жизнь людей связана самым непосредственным образом. Во времена долгого брежневского правления, теперь именуемого периодом застоя (достаточно одного этого слова, чтобы охарактеризовать целую эпоху, окончившуюся лишь с приходом М.С. Горбачева), экономика в целом развивалась очень медленно, но в московских магазинах обычно водились товары повседневного спроса, хотя иногда за ними и нужно было долго стоять. В период застоя время от времени возникал дефицит тех или иных товаров, и люди старались делать какие-то запасы, чаще всего – спичек, электрических лампочек, зубной пасты, туалетной бумаги, соли и сахара. Грянула перестройка, казалось бы, национальная экономическая система должна была вздохнуть с облегчением – но вместо долгожданного изобилия вдруг начались странные и досадные периоды дефицита всего и вся. Вызывало их сочетание инфляции с падением производства: денег у людей стало больше, а того, что можно купить, – меньше. Начались – как у отдельных людей, так и у целых регионов – циклы панического приобретения, из-за которого снабжение магазинов становилось еще более проблематичным. Чтобы поднять производство, правительство решило применить к экономике "шоковую терапию" и в качестве одной из мер объявило в конце весны 1990 г. о подьеме розничных цен. Народ стал запасаться еще активнее, а торговцы начали придерживать товары в ожидании либерализации цен; все это ухудшило и без того неважное положение.

Чем меньше сахара, молока и мяса оставалось на прилавках государственных магазинов, тем возбужденнее становились разговоры людей. Когда же в Москве ввели так называемые "визитные карточки покупателя", люди совсем перестали сдерживаться в разговорах о "полной разрухе". У меня было впечатление, что одновременно с тревогой мои собеседники испытывали экстаз оттого, что их "маленькие" жизни оказались затронутыми такой огромной экономической катастрофой; необходимость иметь карточку (а затем рассказывать о том, как ею пришлось воспользоваться) как-то связывала их с более абстрактными и широкими процессами социальных сдвигов. Я сказала бы, что люди чувствовали себя причастными к напряженной российской драме, представляемой ими как нескончаемая череда катастроф и периодов хаоса.

Как-то (апрельским днем 1990 г.) я встретилась с одной знакомой в коридоре одного учреждения и спросила у нее как дела. "Все в порядке, – заверила меня собеседница. – Но в какое время мы живем! – Она говорила шепотом, как будто делилась со мной каким-то секретом. – Все хорошо, но поди что-нибудь купи! В какой магазин ни зайдешь – пусто. Это конец; не знаю, может быть, мы дошли до полной разрухи. Один знакомый рассказывал, как он зашел в магазин, а там – одни рыбные консервы, да еще отвратительные – даже пьянчуги не берут их на закуску. Зато находчивые продавцы, которым, разумеется, нечего делать на работе, развлекались – сложили из этих тысяч банок целые Эйфелевы башни, пирамиды, Великие Стены – целый мир, семь чудес све-

та из банок с кильками". Она закончила описание этого сказочного места популярным рефреном: "Такое возможно только в одной стране – у нас в России".

Вероятно, все так и было: московские супермаркеты, и никогда-то не бывшие "супер", в 1989–1990 гг. превратились в какие-то фантастические места. Забредя однажды в огромный магазин, я не увидела в продаже ничего, кроме килограммовых пачек соли, и хотя они не были сложены так затейливо, как в вышеприведенном рассказе, но и здесь продавщицы постарались придать витринам с картонными упаковками привлекательный вид. Если нечего продавать и покупать, то продавцы и покупатели могут, по крайней мере, применить подручные материалы (или сам недостаток оных) – от сказанных шепотом слов до пачек с солью или консервных банок – для создания "сказок", столь метко и остроумно говорящих об отсутствии пригодных для еды субстанций.

Но подобные сказки, рассказанные как вербальными, так и визуальными средствами, не просто иллюстрировали плачевное состояние магазинов. Все они, в долговременном и более общем плане, служили хроникой фантастически-ужасной жизни мифической России, Володиного Анти-Диснейленда.

Я думаю, что этот "Анти-Диснейленд" отмечен не меньшей положительной культурной ценностью для русских, чем настоящий Диснейленд для американцев. Разумеется, эта ценность не безоговорочна (в США тоже не все одобряют мифологию Диснейленда). Но факт остается фактом: во многих слышанных мной рассказах Россия представляла неким "противоположным" местом, антиутопией, зазеркальным пространством; не случайно же одно из самых распространенных иронических прозвищ России/СССР – "страна чудес". Параллельно часто произносится фраза "страна дураков". Вот эта-то символическая конструкция – со своей эпистемологической традицией, с тысячами претворений в поэзии, прозе и изобразительных искусствах, с бесчисленными незаписанными, но от этого не менее действенными фольклорными (устными) пересказами – и есть ценный жанр как речи, так и самой жизни, и инвестиции в его развитие всегда воспринимаются весело и охотно. Я называю этот жанр "сказанием о России". В нем немало трагических элементов, но его все равно любят – за то, что оно захватывающе, ужасно, смешно, удивительно и прекрасно. В словах одного известного театрального критика (интервью 1994 г.) можно услышать подтверждение такой интерпретации: "С одной стороны, за границей русские побаиваются признаться в своей национальной принадлежности, а с другой стороны, в душе они гордятся тем, что они русские, что происходят из страны с такой удивительной историей".

Рассказы о российских нелепостях вызывали у слушателей сложный эмоциональный отклик. Мне представляется, что в какой-то степени эта реакция была порождена самой привычностью жанра "сказания о России". Постоянное воспроизведение жанра служит созданию как внутрличностной, так и социальной гармонии, что немаловажно для связи между личным и общественным. Как пишет Пьер Бурдьё, «один из фундаментальных результатов формирования габитуса есть создание мира обыденности, наделенного объективностью, которую обеспечивает консенсус по поводу смысла (*sens*) деятельности и окружающего мира. Речь идет о гармонизации опыта индивида и подкрепления, получаемого как индивидом, так и окружающим миром через выражение – индивидуальное или коллективное (например, в форме праздников), импровизированное или запрограммированное (в словесных "общих местах", в поговорках) – такого же или аналогичного опыта» (*Bourdieu* 1977: 80).

Мир повседневности может изображаться и как абсурдное, глупое место. Но ведь можно представить себе, что и бессмыслица, несообразность могут быть приятны и ценны – в нарративе, равно как и в жизни общества, – если они находят в душах отклик как "свои" и культурно "специфические".

Это утверждение предполагает, что русские, как и все остальные, – пленники своих речевых жанров: своей манеры говорить о себе как о терпеливых или необузданных,

рассудительных или бесшабашных; манеры представлять свой народ как жестокий или доведенный до жестокости; манеры описывать пространство, называемое ими Россия, как страну страдания и нелепости. Жанры именно такого представления личности и нации были (и в большой степени остаются) ключевыми в русском разговоре, конкретным механизмом построения, поддержания и воспроизводства общего духа и смысла русского социального мира. Жанры типа "полная разруха" или "сказание об абсурде" выступают привычными (и нередко весело-остроумными) посредниками между русскими утопическими мечтаниями и русской реальностью; они предоставляют что-то вроде шаблона для описания абсурдной реальности и дают людям возможность думать, действовать и жить внутри этой абсурдной реальности.

"Сказание о России" – эпический абсурдистский жанр с подвижными границами, легко впускающими в свои пределы любой новый материал, – было той широко распространенной и привычной нарративной формой, которая служила культурной связью для самых разных людей; эта связь была одной из прочнейших в сети коммуникативных обменов. Безмерно богатая абсурдистская традиция в русской литературе подпитывает повседневные разговоры, в которых тоже сплетается эта сеть: люди непосредственно и с помощью отдельных деталей проводят параллели между случаями из своей жизни и гротескными историями, созданными Гоголем, Хармсом, Булгаковым, Войновичем и многими другими литераторами.

Быть частью сети значит в своих личных нарративах все время встраивать себя в более широкое, непрестанно творящееся повествование. Это значит, что надо, чтобы циркулировали определенные базовые типы историй, анекдотов, ламентаций, примеров абсурда, чтобы рассказывание их не прекращалось и чтобы не нарушалась их внутренняя морфология (детали можно, как говорил известный исследователь русской сказки В. Пропп, выбирать и варьировать). Текст – это во многих смыслах и контекст. Следующий раздел посвящен тем "родовым" способам, какими русские включают себя в эпическое "сказание о России" и, в частности, в его главу о перестройке.

Литании и ламентации: дискурсивное искусство страдания

Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и не утолимого, везде и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид; он вздыхает и относит славу свою к милости Господа. Страданием своим русский народ как бы наслаждается.

Ф. Достоевский. "Дневник писателя"

У русских в сердце всегда есть место жалости к жертвам. Вы правы, говоря, что война была величайшей катастрофой. Но о жертвах этой катастрофы – миллионах и миллионах убитых, о бесчисленных сиротах и вдовах – мы всегда, да, всегда будем думать с любовью и жалостью.

Слова пожилой москвички, приведенные Н. Тумаркин в книге "Живые и мертвые" (Tumarkin 1994)

Мне представляется, что в годы перестройки дискурсивный жанр, названный мною "литанией" (Ries 1991), занимал особое положение в русском разговоре. В литаниях содержались некоторые доминирующие точки зрения на происходившие тогда социальные трансформации; литании обеспечивали говорящих важнейшими семиотическими кодами и оценочными векторами, с помощью которых человеческое восприятие "обрабатывало" бурные события дня. Одновременно литании осуществляли парадоксальную трансформацию ценностей: страдание становилось заслугой, положение жертвы стяжало уважение, утраты обращались в приобретения. В данной главе объ-

ектом рассмотрения станет литания как такой дискурсивный жанр, который, служа гражданам для оплакивания своего бессилия и устраненности из политического процесса, возможно, сам способствует сохранению такого положения.

Литании были "кирпичиками" многих разговоров, как формальных, так и неформальных, в которых я участвовала или которые услышала невзначай. Последнее важно, так как по этим "подслушанным" разговорам я могла судить, насколько мое – иностранки, американки, этнографа – присутствие влияло на собеседников. Разумеется, мое участие в разговоре давало себя знать: во многих случаях люди жаловались вообще или жаловались особенно рьяно именно потому, что перед ними был заинтересованный слушатель из Америки. Мне были небезразличны истории жизненных перипетий, я понимала желание людей поделиться: когда всем одинаково плохо, трудно рассчитывать на внимание окружающих к своим проблемам. Кроме того, в литаниях был запрятан едва уловимый призыв о помощи, а американцы, с их огромными, по русским представлениям, возможностями и ресурсами, казались естественным объектом такого призыва. Поэтому, конечно, мое присутствие стимулировало потоки литаний, однако жанр существовал и сам по себе – вся Москва того времени просто гудела литаниями.

Я слышала их в поездах метро, в автобусах и электричках, на улицах, на встречах друзей и во время праздничных застолий, на разнообразных собраниях самых разных групп, в телевизионных и радиопередачах, в театральных спектаклях, художественных и документальных фильмах, наконец, в заранее написанных или импровизированных речах участников политических митингов⁷. Встречались они и в печатных текстах: например, письма редакторам популярных журналов вроде "Огонька" чаще всего принимали именно такую форму (см.: *Riordan and Bridger 1992; Korotich 1990*).

Жанр литании

Литании – это речевые периоды, в которых говорящий излагает свои жалобы, обиды, тревоги по поводу разного рода неприятностей, трудностей, несчастий, болезней, утрат, а в конце произносит какую-нибудь обобщенно-фаталистическую фразу или горестный риторический вопрос (например: "Ну почему у нас все так плохо?"). Завершить литанию может и тяжкий вздох, выражающий разочарование и покорность судьбе.

Однажды я пришла за интервью домой к 60-летней Наталье Викторовне, известному и уважаемому историку. В квартире ее повсюду были книги. Она настояла на том, чтобы я что-нибудь поела, и мы переместились в небольшую кухню. Наталья Викторовна готовила салат и бутерброды с плавленым сыром и по ходу дела говорила, а я сидела за кухонным столом и слушала. Примерно полчаса она перечисляла насущные проблемы России, вела речь о нехватке товаров и продуктов, коррумпированности властей, росте преступности, неумении русских работать, затем снова о дефиците. В какой-то момент она перестала резать капусту и, выразительно размахивая ножом, сказала следующее: "Вот такая у нас жизнь, настоящий театр абсурда. Такого не может быть ни в одной цивилизованной стране, ни в Америке, нигде. Ты понимаешь, как ково людям, когда нет аспирина, нет инсулина? Мясо, что я последний раз видела в магазине, было уже полусгнившее и по такой цене, что кто может его себе позволить? Наша родина такая несчастная, такая несчастная".

После этого она начала все сначала, приводя новые яркие примеры советской неэффективности и коррупции среди чиновников, жалуясь на вызванный перестройкой упадок социальной сферы и на гибель прежних ценностей. Литания прекратилась, только когда я собралась уходить; Наталья Викторовна пригласила меня приходить еще и на прощание сказала: "С моей пенсией я не могу угостить тебя получше, но так

приятно с кем-то поговорить. Ты не обыкновенная иностранка – ты понимаешь российскую жизнь, понимаешь, как мы живем”.

Слышанные мною литании могли быть, вроде речей Натальи Викторовны, долгими и подробными, построенными из отдельных связанных с темой сегментов, причем составлять такой сегмент могла и одна-единственная фраза. Например, один ветеран войны, инженер лет под 70, уверял меня что вообще-то он по натуре оптимист, верит в прогресс и ожидает лучшего. Вдруг посреди разговора он на мгновение задумался и сказал: "Но иногда поглядишь вокруг и увидишь всю эту дикость, все это варварство, пьянство, разложение, эту преступность... Да, трудно не потерять надежду". Он произнес пять ключевых слов с типичной протяжной интонацией, поднимавшей такой комментарий до уровня литании.

Различные элементы литании обычно связывались друг с другом посредством синтаксического параллелизма или по тематическому сродству⁸. Кроме литаний, произнесенных одним говорящим, были и такие, которые звучали диалогически, когда каждый из участников добавлял к разговору свой фрагмент. Русские литании могли произноситься с иронией или даже нести элемент пародии на самих себя; подчас они использовались и при изображении положительных элементов социальной ситуации; но все эти образцы носили откровенный характер жалобы, что можно считать основной качественной характеристикой данного жанра. Интонационно разговорные литании приближались к трем известным жанрам русской речи: традиционному плачу (исключительно женскому жанру), церковному молебну и поэтической декламации. Как и перечисленные жанры, литании часто содержали поэтические каденции, имели речитативную двухтоновую интонацию, рифмы и кольцевую композицию.

Кроме того, литании нередко звучали как мольба, хотя в заключительные годы перестройки объект этой мольбы отнюдь не был очевиден; сам факт, что не к кому было обращаться за спасением, тоже стал одной из трагических тем литаний. Как видно, между религиозными и поэтическими жанрами и обыденными литаниями существовала связь, но я назвала бы ее скорее не генетической, а взаимно-усилительной в идеологическом, структурном и стилистическом планах.

Разговорные литании всегда отличались жалобным тоном и соответствующим стилем, многие из них завершались риторическими вопросами – характерным признаком плачей. Откровенно "плачевыми" были те места в речи, где говорящий начинал размышлять, комментируя собственную литанию в том смысле, что она иллюстрирует трагедии и парадоксы истории, и задавая экзистенциальными вопросами: "Как такое может быть? Почему нам так плохо? Почему в нашей жизни так много страдания? Почему мы всегда оказываемся жертвами? В чем наше спасение?" Такой переход к возвышенной ламентации не всегда означал конец литании; нередко это было высшей точкой, после которой заново начиналось перечисление несчастий.

Меня не покидало ощущение, что произнесение литаний перед собеседником было чем-то вроде сакрального действия, сдвигающего дискурсивный контекст в другую плоскость, возвышавшего простой разговор до уровня масштабного эпоса о России и превращавшего это действие в часть самой горькой российской драмы⁹. Даже однословные литании могли быть фокусом и возвышающим элементом разговора или монолога. Так, в рассказе о своей жизни, говоря о военном времени, один человек произнес короткую литанию из созвучных и рифмующихся слов: "Холод, зима, голод", – и эмоциональная напряженность рассказа тотчас усилилась¹⁰. Наверное, точнее всего будет сказать, что литании ритуализировали русскую речь, и благодаря их появлению она часто переходила из плана обычного разговора или нарратива в возвышенный план ритуала.

Литании создавали, хотя и на мгновение, то состояние ритуальной лиминальности, которое Виктор Тернер описывает как "момент внутри и одновременно вне времени, внутри и одновременно вне секулярной социальной структуры, когда обнаруживается, пусть и на краткий миг, некое признание (если не всегда в языке, то в символе) генера-

лизованной социальной связи, которой уже не существует и которой в то же время еще предстоит раздробиться на множество структурных связей" (Turner 1977: 96).

"Генерализованная социальная связь", в одно и то же время архаическая и такая живая, – это воображаемые узы, соединяющие людей в некую моральную общину – общину страдания. Как ритуальные заклинания, литании пробуждали чувство принадлежности к общине и служили ключом к ее дверям. Одна деталь для иллюстрации: начиная рассказ о личных проблемах или бедах в первом лице единственного числа, человек вдруг переходит на первое лицо множественного числа и начинает оплакивать "наши" трудности, имея в виду всю Россию, или всю интеллигенцию, или весь народ и т.д.¹¹

Люди могли отождествлять себя с различными группами или социальными категориями. В литаниях появлялись многие типы самоидентифицирования: классы ("мы, рабочие", "мы, интеллигенция"), профессии ("мы, горняки", "мы, ученые", "мы, учителя"), пол ("мы, женщины" или, реже, "мы, мужчины"), возраст ("мы, пенсионеры", "мы, молодежь"), более или менее масштабные социальные события ("мы, ветераны", "мы, жертвы Чернобыля", "мы, пострадавшие в железнодорожной катастрофе в Свердловске"). Эти категории часто сливались или пересекались друг с другом, например – "ветераны Великой Отечественной войны" принадлежали также и к старшей возрастной группе. Любая из категорий самоотождествления несла массу значений. Так, когда "мы, женщины" произносилось с определенной, знакомой всем интонацией, было понятно, что речь идет о низком статусе в обществе, стоянии в очередях, недовольстве мужьями, нищете, тревоге за детей и о многих других тяготах положения русской женщины.

Привычное, незаметное для самих говорящих использование стилистического приема синекдохи (Dundes 1972; Bourdieu 1977: 167) действовало так, что рассказы о личных проблемах становились неотъемлемой частью коллективной саги; но синекдоха производила и обратный эффект: за разговором о трудностях группы проглядывали трудности отдельного человека. Таким образом, всего одна дискурсивная операция могла служить для определения одновременно нескольких идентичностей индивида: личной, коллективной, национальной, – а также выражала взаимосвязь этих уровней самоидентификации. В каком-то смысле люди, ритуализированно, через дискурс, "вызывая дух" различных групп, создавали их фактически или, по крайней мере, конкретизировали их очертания.

Литании и культурная установка

Литании помогали создавать всем знакомое (и легко стереотипизируемое или пародуемое) настроение, свою русскую культурную установку (*stance*¹²), диспозицию (Bourdieu 1977: 214) или манеру (*mood*) – (Geertz 1973: 94–95). Установка – это позиция, как физическая, так и "эмоциональная", выражающая определенные состояния, ожидания, точки зрения, ценности или устремления. В частности, установка, находящая выражение в литаниях, – это обычно состояние жертвы, состояние человека или коллектива, претерпевающего страдание, обреченного страдать "во веки вечные". Причинять страдание может могущественная личность (в конце 1980-х годов таковыми представлялись Сталин и Горбачев), чужая социальная группа и даже сама вселенная, в местных представлениях – судьба, жизнь, вечная русская неустроенность. Такая культурная установка была следствием идеологического конструирования России как царства неизбежных страданий, тирании, нелепости, лишений и потерь.

Хотя я пришла к выводу, что культурная установка жертвы является главенствующей в русском дискурсе (и в других поведенческих проявлениях), я отнюдь не хочу сказать, что она единственная; наоборот – она всегда находилась в диалоге с другими ключевыми культурными позициями, каждая из которых утверждала другие формы ситуационной идентичности: безграничной, иррациональной восторженности (позиция "юродивого"), непоколебимого равнодушия (позиция бюрократа), стоической выносливости (позиция "бабушки") и т.д.

Антиподом литании как дискурсивной формы может быть названо славословие – жанр лицемерных, самодовольных, хвастливых речей, на которых была построена большая часть коммунистической пропаганды, и многие другие жанры официального языка (например, особый стиль ведения экскурсий советскими гидами). Вот некоторые из ключевых черт, характеризующих диалектическую оппозиционность этих двух жанров:

<i>Литания/ламентация</i>	<i>Славословие</i>
– возложение ответственности на других/судьбу	– прославление себя/нации/России
– фаталистичность, преувеличение бессилия	– утопичность преувеличение могущества
– тематика – утрата/недостаток	– тематика – приумножение/талантливость
– преим. “женственность” жанра, принадлежность женщинам	– преим. “мужественность” жанра, принадлежность мужчинам
– ориентированность на прошлое	– устремленность в будущее
– печальный настрой	– воодушевление
– пессимистичность	– оптимистичность

Если жанр славословия принадлежал по преимуществу к дискурсу власти, был знаком идентификации с институтами власти или близости к ним, то литания – это жанр, утверждающий невинность безвластных (которая парадоксальным образом оборачивается формой моральной власти – я еще вернусь к этой теме). Не будучи, за исключением особых случаев, ни конфронтационной, ни целиком пассивной, литания выражает коллективное недовольство граждан принижением положением в обществе и обнажает обратную сторону “официальной истории” (Scott 1990).

Поэтому неудивительно, что в 1989 и 1990 гг. литаний практически не было слышно из уст людей, занимавших сколько-нибудь значительные посты. Я работала в Москве еще до распада СССР и поэтому имела возможность проинтервьюировать немало представителей официальной советской власти – государственных чиновников, военных, политических деятелей, партийных функционеров. В этих интервью литаний не звучало. Бывали моменты приподнятой сентиментальности, например когда один ветеран войны вспоминал прибытие американских джипов с шоколадом и тушенкой. Были рассказы о личных утратах и потерях страны в войне, сожаления о запрете религии в Советской России и т.п. – т.е. те типы разговоров, которые в других обстоятельствах вылились бы в литании и lamentации, но в описываемых случаях главенствовали другие жанры. В частных разговорах официальные лица могли произнести литанию, однако я не раз наблюдала – например, будучи у кого-нибудь в гостях, – как люди с прочным социальным статусом избегали участия в дружных сетованиях остальной компании. Те же, кто постепенно терял или уже потерял такой статус, например пенсионеры, могли много говорить, используя форму литаний, и нередко о том, что нация морально деградировала в результате перестройки. Подобная тенденция лишней раз показывает, что в целом литания/ламентация ассоциируется с ущербным или утраченным формальным социальным статусом или властью.

Гендерные различия проявлялись в литаниях особым образом. У мужчин литании звучали более иронично, чем у женщин. Я полагаю, здесь отражается традиционное разделение “дискурсивного труда”: женщинам – жалоба, мужчинам – острота¹³. К тому же, детали, окрашивавшие литании в определенные тона, брались из символических и профессиональных сфер, традиционно считавшихся мужскими или женскими. Если мужчины могли “литанизировать” на темы политики, экономики, военных дел, то женщины обычно жаловались на дефицит, на проблемы с детьми и на “неподдающихся” мужей.

Литании: темы и культурные позиции

В общем и целом фокусом литаний были человеческие потери в прошлом, крупные социальные потрясения в настоящее время и неопределенность (или неминуемость борьбы и лишений) в будущем. Хотя эти сюжеты масштабны сами по себе, диапазон составлявших их конкретных тем и деталей – "кирпичиков" жанра – был относительно неширок. Когда речь шла о прошлом, в литаниях оплакивались потери русского народа во время революции, в сталинскую эпоху и/или в годы Великой Отечественной войны – жертвы, которые перестройка, казалось, обесценила. Часто люди сожалели о том, что коммунистическая идеология и абсурдные советские проекты изуродовали множество человеческих жизней. Темами литаний о современности были трудности и все новые безумия жизни или же "моральный упадок" общества (преступность, насилие, апатия и т.п.). Литании на тему будущего произносились по поводу явного тупика, в котором оказалась страна, по поводу отсутствия ясного пути к лучшей жизни, к более цивилизованному обществу; самые радикальные литании пророчили тотальный социальный апокалипсис, иногда даже в глобальных масштабах. В разговорах литании могли устанавливать связь между событиями прошлого, современностью и будущим нации. Самым отчетливым в литаниях был сложный комплекс тем об отношении к советской истории и о степени и формах идентификации человека с социалистическим строем; большое разнообразие позиций наблюдалось и в выражении мнений о перестроечных переменных.

Подобно любой форме разговора, каждая литания представляла собой многогранное выражение идентичности и мировоззрения говорящего. Нередко за простыми, незначительными деталями литаний стояли крупные социальные проблемы и различное отношение к этим проблемам. Например, жалоба Натальи Викторовны на нехватку аспирина и инсулина сообщала о громадных масштабах лишений, которые выпали на долю россиян во время перестройки. Моя собеседница связывала трудности сегодняшнего дня с исторической судьбой своей родины и демонстрировала очень женскую позицию сочувствия многострадальному народу, каким он вырисовывался в ее дискурсе. Надо заметить, что, хотя она жила просто и скромно и слыла глубоко порядочным человеком, она принадлежала к элитной группе интеллигенции, имевшей недоступные многим привилегии. Но по крайней мере в пространстве своей литании она идентифицировала себя с моральной общиной, состоящей из тех, кто страдает и испытывает трудности, и таким образом стирала границу между собственной социальной группой и русским народом в целом. Как видим, даже малейшие детали литании передавали целую палитру смыслов и свидетельствовали о многосложности сплава политических, социальных и нравственных представлений говорящих.

Примечания

¹ Понятие "перестройка" впервые было сформулировано М.С. Горбачевым в 1985 г. на апрельском пленуме ЦК КПСС. Горбачев предполагал, что с перестройкой начнется период экономического ускорения и модернизации. Гласность и демократизация общества, о которых говорилось на январском пленуме 1987 г., были призваны обеспечить открытость всей системы управления государством. "Суть перестройки именно в том и состоит, – писал Горбачев, – что она соединяет социализм с демократией" (Горбачев 1987: 31). По поводу того, возможно ли соединение социалистического государственного планирования с рыночными механизмами, существует широкий спектр мнений среди политологов и обществоведов как на Западе, так и на Востоке. Я склонна согласиться с теми, кто, подобно М. Льюину (Lewin 1988) и Б. Кербли (Kerblay 1989), считает, что в описываемый период был момент, когда рационально продуманное соединение социалистической и рыночной систем могло бы состояться. Оглядываясь теперь назад, мы видим, что противоречивые идеологические позиции и мощь непокоренной бюрократии не позволили лидерам произвести эффективные структурные изменения, а растерянность и топтание на месте привели к недоброжелательству населения экономическими мерами, столь негативно сказавшимися на его жизни (см.

также: *Aslund* 1989 и *Goldman* 1992). Однако не менее очевидно, что в неудаче перестройки, а также в том, с какими трудностями столкнулось развитие постсоветской демократии, ключевую роль играли многие факторы – структурные, социальные и культурные (см.: *Lewin* 1995, *Jowitt* 1992, *Moskoff* 1993 и др.).

² Я использую термин "дискурс" в том же смысле, в каком его употреблял Джоэл Шерцер в своем известном эссе (*Sherzer* 1987): "В рамках моего исследовательского подхода к дискурсу последний представляет собой наиболее общий и всеобъемлющий уровень лингвистической формы, ее содержания и практического употребления. Именно на этом положении я основываю свое утверждение, что дискурс и, особенно, процесс структурирования дискурса есть локус взаимодействия языка и культуры... Поскольку дискурс является воплощением, фильтром, создателем, воссоздателем и передатчиком культуры, постольку для проникновения в суть культуры следует изучать реально производимые обществом и отдельными его членами мифы, легенды, истории, разговоры и словесные поединки, составляющие вербальную жизнь данного общества" (*Sherzer* 1987: 306). Работа Шерцера, а также исследование Грегори Урбана (*Urban* 1991) по мифологии и устному общению в Шокленге (Бразилия) содержат важные методологические ориентиры для использования понятия "дискурс" – конкретного и поддающегося фиксации – в качестве фундамента культурологических исследований.

³ Перевод Зары Абдуллаевой (*Abdullaeva* 1996).

⁴ Правда, Гирц почему-то ничего не говорит о нарративах и дискурсах информантов и об их роли в "социальной драме"; он предпочитает заниматься не словами, но формой, воспроизводимой "телесно". В русской культуре (и, по-видимому, в иных культурных средах также) речь является важнейшим средством повторения формы.

⁵ Долгосрочный советский проект под названием "созидание нового советского человека" (*Bauer* 1952; *Attwood* 1990: 32–66), аккумулировавший огромные социальные и научные ресурсы, можно рассматривать как попытку создания нового мира путем реформирования эталона личности (хотя достижению этой цели препятствовали и непоследовательные идеологические установки, и тоталитарные средства).

⁶ Сеансы рассказывания историй с устрашающим содержанием – феномен, известный во многих культурах; его можно сравнить, например, с соревнованиями рассказчиков в различных обществах Океании (ср. *Brenneis, Myers* 1984; *Brenneis* 1988). Здесь наблюдается логика "интенсификации" (*Luthi* 1976), когда при каждой последующей передаче истории страшные детали становятся все страшнее. О подобных чертах устных культур говорит также и У. Онг (*Ong* 1981; 1982: 43–45).

⁷ Приведу примеры таких публично исполненных литаний. 26 января 1990 г. либеральная телевизионная программа "Взгляд" показала сюжет о том, как матери российских призывников окружили штаб вооруженных сил в Ставрополе и требовали возвращения своих сыновей; интервью этих женщин представляли собой именно литании и lamentации. Пьеса Людмилы Петрушевской "Московский хор", которую впервые поставили только в годы перестройки, сплошь состоит из литаний, причем Петрушевская с гениальным мастерством доводит их до абсурда. Фильмы Станислава Говорухина – например, "Россия, которую мы потеряли" – это литании от начала и до конца. К слову сказать, многие пьесы Чехова (которые я регулярно смотрела в Москве) тоже полны литаний, что свидетельствует об устойчивости этого речевого жанра во времени.

⁸ О структурирующей роли параллелизма в русской устной поэзии, песенном фольклоре, эпосе, плачах писал Р. Якобсон (*Jakobson* 1966). В литаниях, которые я здесь описываю как жанры спонтанной, обыденной речи, вряд ли по простому совпадению используется тот же самый связующий механизм, что и в изученных Якобсоном фольклорных жанрах.

⁹ Я и ностальгию по Москве отчасти испытываю из-за тех эстетических и эмоциональных ощущений, которые доставляли мне литании. Слушая их, я нередко словно сама лично переживала жуткие, вот сейчас происходящие, реальные трагедии российской жизни. Такое же чувство было, по их словам, и у самих русских, когда они слушали повести о страданиях. Можно даже сказать, что возможность испытывать такого рода чувства составляла часть богатой русской идеологии страдания, которую так хорошо характеризовал Достоевский. Редактор "Огонька" сказал о грустных письмах, приходящих в журнал, что они принадлежат "искусству боли" (*Cerf, Albee* 1990: 14). Интересный комментарий об экзальтации, возбуждаемой русским разговором о страдании, делает Даниель Ранкур-Лаферрьер (*Rancour-Laferriere* 1995: 247).

¹⁰ Этнограф Брюс Грант рассказал о похожей на эту литании, которую он, находясь на полевой работе на о-ве Сахалин примерно в то же время, когда я была в Москве, услышал в телеви-

зионных новостях: ведущий говорил о состоянии российского Дальнего Востока, перечисляя с соответствующей интонацией "холод, голод и разруху" (Grant 1995: 29).

¹¹ Майкл Урбан говорит о таких же переходах от личного к общему в дискурсе политиков в посткоммунистической России; он называет этот феномен "осцилляцией числа" и рассматривает эффект его использования в политической риторике: "Чередование единственного и множественного числа местоимения первого лица – Я и Мы (в смысле народ) – позволяет говорящим рисовать себя выразителями людских чаяний и народной воли, а свои рецепты решения проблем – в точности отвечающими первостепенным национальным интересам; при этом вместо убедительных аргументов используются лозунги и броские фразы" (Urban 1994: 747).

¹² Слово *stance* обозначает позу, стойку игрока, готового к удару по мячу, в разных спортивных играх, а также отношение, позицию, установку (Примеч. пер.).

¹³ В дореволюционной России существовало немало четко разграниченных по полу жанровых и лексических форм. Так, плач был исключительно женским жанром; плачи могли исполняться профессиональными плакальщицами во время обрядов жизненного цикла (о свадебных плачах см.: Балашов 1985), в ситуациях личных утрат (похоронные плачи), а также по поводу потерь, например, в войнах (Bazanov 1975). Тема гендерного разделения русского крестьянского дискурса затронута В. Аникиным (Anikin 1975: 33) и Дж. Хауи (Howe 1991: 49–65). Во многих, хотя, разумеется, далеко не во всех, культурах плач является специфически женским жанром (см., напр.: Alexiou (1974), Caraveli-Chaves (1980), Seremetakis (1991) и Holst-Warshaft (1992) о греческих плачах; Briggs (1992) о "женском вое" уваро дельты Ориноко в Венесуэле и Grima (1992) о плачах пуштунских женщин Пакистана). Плач явно связан с состоянием или ситуацией бессилия, поэтому неудивительно, что он так часто становится женской дискурсивной активностью.

Литература

- Балашов 1985 – Балашов Д.М. Русская свадьба: Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшенье и на Устьеге (Тарногский район Вологодской области). М., 1985.
- Горбачев 1988 – Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., 1988.
- Ерофеев 1993 – Ерофеев В. Очень женское "Что делать?" // Московские новости. 1993. № 3.
- Рус 2005 – Рус Н. Русские разговоры. Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М., 2005.
- Abdullaeva 1996 – Abdullaeva V. Popular Culture // Russian Culture at the Crossroads: Paradoxes of Post-Communist Consciousness / Ed. D. Shalin. Boulder, 1996. P. 209–238.
- Alexiou 1974 – Alexiou M. The Ritual Lament in Greek Tradition. Cambridge, 1974.
- Anikin 1975 – Anikin V.P. On the Origin of Riddles // The Study of Russian Folklore / Eds. F.J. Oinas, S. Soudakoff. The Hague, 1975. P. 25–37.
- Aslund 1989 – Aslund A. Gorbachev's Struggle for Economic Reform. Ithaca, 1989.
- Attwood 1990 – Attwood L. The New Soviet Man and Woman: Sex Role Socialization in the USSR. Bloomington, 1990.
- Bauer 1952 – Bauer R.A. The Psychology of the Soviet Middle Elite // Personality in Nature, Society, and Culture / Eds. C. Klukhohn, A. Murray, D. Schneider. N.Y., 1952. P. 633–650.
- Bazanov 1975 – Bazanov V.G. Rites and Poetry // The Study of Russian Folklore / Eds. F.J. Oinas, S. Soudakoff. The Hague, 1975. P. 123–134.
- Bourdieu 1977 – Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice. Cambridge, 1977.
- Brenneis 1988 – Brenneis D. Telling Troubles: Narrative, Conflict, and Experience // Anthropological Linguistics. 1988. № 3. P. 279–291.
- Brenneis, Myers 1984 – Dangerous Words: Language and Politics in the Pacific / Eds. D. Brenneis, F.R. Myers. Prospect Heights, Ill., 1984.
- Briggs 1992 – Briggs C. Since I Am a Woman, I Will Chastise My Relatives: Gender, Reported Speech, and (Re)production of Social Relations in Warao Ritual Wailing // American Ethnologist. 1992. № 2. P. 337–361.
- Briggs, Bauman 1992 – Briggs C.L., Bauman R. Genre, Intertextuality, and Social Power // Journal of Linguistic Anthropology. 1992. № 2. P. 131–172.
- Caraveli-Chaves 1980 – Caraveli-Chaves A. Bridge Between Worlds: The Greek Woman's Lament as a Communicative Event // Journal of American Folklore 1980 (April–June). P. 129–157.
- Cerf, Albee 1990 – Small Fires: Letters from the Soviet People to Ogonyok Magazine, 1987–1990 / Eds. C. Cerf, M. Albee. N.Y., 1990.

- Dundes* 1972 – *Dundes A.* Folk Ideas as Units of Worldview // *Toward New Perspectives in Folklore* / Eds. A. Paredes, R. Bauman. Austin, 1972. P. 93–103.
- Frierson* 1993 – *Frierson C.A.* Peasant Icons: Representations of Rural People in Late Nineteenth Century Russia. N.Y., 1993.
- Geertz* 1973 – *Geertz C.* 1973. The Interpretation of Cultures. N.Y., 1973.
- Geertz* 1983 – *Geertz C.* Local Knowledge. N.Y., 1983.
- Goldman* 1992 – *Goldman M.* What Went Wrong with Perestroika. N. Y., 1992.
- Goscilo* 1993 – *Goscilo H.* Domostroika or Perestroika? The Construction of Womanhood in Soviet Culture Under Glasnost // *Late Soviet Culture: From Perestroika to Novostroika* / Eds. T. Lahusen, G. Kuperman. Durham, NC, 1993. P. 233–256.
- Grant* 1995 – *Grant B.* In the Soviet House of Culture – A Century of Perestroikas. Princeton, 1995.
- Grima* 1992 – *Grima B.* The Performance of Emotion among Paxtun Women. Austin, 1992.
- Holst-Warshaf* 1992 – *Holst-Warshaf G.* Dangerous Voices: Women's Laments and Greek Literature. L., 1992.
- Howe* 1991 – *Howe J.E.* The Peasant Mode of Production. Tampere, 1991.
- Jakobson* 1966 – *Jakobson R.* 1966. Grammatical Parallelism and Its Russian Facet // *Language*. 1966. № 2. P. 399–422.
- Jowitt* 1992 – *Jowitt K.* New World Disorder: The Leninist Extinction. Berkeley, 1992.
- Kerblay* 1989 – *Kerblay B.* Gorbachev's Russia. N.Y., 1989.
- Khanga* 1991 – *Khanga Y.* No Matryoshkas Need Apply // *N.Y. Times*. 1991. Nov. 25.
- Korotich* 1990 – *The New Soviet Journalism: The Best of the Soviet Weekly Ogonyok* / Eds. V. Korotich, C. Porter. Boston, 1990.
- Lapidus* 1978 – *Lapidus G.W.* Women in Soviet Society: Equality, Development, and Social Change. Berkeley, 1978.
- Lewin* 1995 – *Lewin M.* The Gorbachev Phenomenon: A Historical Interpretation. Berkeley, 1995.
- Luthi* 1976 – *Luthi M.* Goal-Oriented in Storytelling // *Folklore Today: A Festschrift for Richard M. Dorson* / Eds. L. Degh, H. Classic, F.J. Oinas. Bloomington, 1976. P. 357–369.
- Meyerhoff* 1986 – *Myerhoff B.G.* Life Not Death in Venice: Its Second Life // *The Anthropology of Experience* / Eds. V.W. Turner, E. Bruner. Urbana, 1986. P. 261–287.
- Moskoff* 1993 – *Moskoff W.* Hard Times: Impoverishment and Protest in the Perestroika Years. N.Y., 1993.
- Ong* 1981 – *Ong W.J.* Fighting for Life: Contest, Sexuality, and Consciousness. Amherst, 1981.
- Rancour-Laferriere* 1995 – *Rancour-Laferriere D.* The Slave Soul of Russia: Moral Masochism and the Cult of Suffering. N.Y., 1995.
- Ries* 1994 – *Ries N.* The Burden of Mythic Identity: Russian Women at Odds With Themselves // *Feminist Nightmares: Women at Odds* / Eds. O. Susan, S.O. Weisser, J. Fleischner. N.Y., 1994. P. 242–268.
- Riordan, Bridger* 1992 – *Dear Comrade Editor: Readers' Letters to the Soviet Press under Perestroika* / Eds. J. Riordan, S. Bridger. Bloomington, 1992.
- Rosaldo* 1986 – *Rosaldo R.* Ilongot Hunting as Story and Experience // *The Anthropology of Experience*. P. 97–138.
- Sariban* 1984 – *Sariban A.* The Soviet Woman: Support and Mainstay of the Regime // *Women and Russia* / Ed. T. Mamonova. Boston, 1984. P. 205–213.
- Scott* 1985 – *Scott J.C.* Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, 1985.
- Seremetakis* 1991 – *Seremetakis N.* The Last Word: Women, Death, and Divination in Inner Mani. Chicago, 1991.
- Shalin* 1996 – *Russian Culture at the Crossroads* / Ed. D.N. Shalin. Boulder, 1996.
- Sherzer* 1983 – *Sherzer J.* Kuna Ways of Speaking: An Ethnographic Perspective. Austin, 1983.
- Tumarkin* 1990 – *Tumarkin N.* Truth Teller // *World Monitor*. 1990. Febr. P. 22–23.
- Tumarkin* 1994 – *Tumarkin N.* The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of WWII in Russia. N.Y., 1994.
- Turner* 1977 – *Turner V.* The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Ithaca, 1977.
- Turner* 1988 – *Turner V.* The Anthropology of Performance. N.Y., 1988.
- Urban* 1991 – *Urban G.* A Discourse-centered Approach to Culture: Native South American Myths and Rituals. Austin, 1991.
- Urban* 1994 – *Urban M.* The Politics of Identity in Russia's Post-Communist Transition: The Nation Against Itself // *Slavic Rev.* 1994. № 3. P. 733–765.
- Voronina* 1993 – *Voronina O.* Soviet Patriarchy: Past and Present // *Hypatia*. 1993. № 4. P. 97–112.

Перевод с английского Н.Н. Кулаковой и В.Б. Гулиды